

# Полюбите нас, Черных

Черная пешка молча и упорно двигалась вперед и незаметно стала королевой. Все фигуры удивлялись. А она — просто! — была королевской.

Жизнь у Брата Лихого складывалась как нельзя несладко. С шести лет попал в детский дом: отца придавило в шахте, а мать через три года после этого лишили материнских прав... В двенадцать он впервые оказался в колонии, потом, до восемнадцати, погостил там еще трижды.

Двоюродная сестра матери, неофициально взявшая на себя обязанности опекунши, плакала, как по родному, ничего не могла поделать с его буянящей энергией колониста, и, сама того не ведая, внушала:

— Колонист, ох, колонист бездомный!

Марта, тетка по отцу, которую Брат Лихой люто ненавидел, прятала все, что могла спрятать от него, боялась, что объест он ее семью, обкрадет да и хату подожжет чего доброго, и ждала — дожидаться не могла, когда «этого бандюгу» заберут в армию. Брат и сам этого ждал, к тетке раза два за пять лет наведалься и единственное, что украл у нее, — шесть мастерски снятых дверных крючков, запоров и замков, — старуха и перед почтальоном запиралась наглухо.

Попрощавшись с дверьми последней колонии, накрепко вызубрив плакат во дворе: «Позор вернувшимся снова», Лихой решил «завязать». Он уже сам хотел измениться, перекраситься, снять старую одежду, татуировку, мысли, очиститься и обелиться. Армия, думал он, хорошо поможет в этом.

Призывники в военкомате смотрели как на полоумного, вполголоса переговаривались за спиной:

— В армию захотел, а? Поменялся бы со мной: я за него погуляю, а он послужит.

— Выслужиться хочет.

— Этим не выслужишься.

Да, Брат Лихой просился в армию. Он говорил об этом всем врачам, военкому... Его резко обрывали, считая сказанное обыкновеннейшим трепом и шутовством.

Брат не отступал. Он остался сидеть в коридоре, пока не разошлись все призывники и члены комиссии, а когда вышел военком, Брат Лихой не дал ему дороги. Военком был человек бывалый, встречал всяких и не отмахнулся от назойливого парня. Они вернулись в комнату, сели за стол, закурили. Брат молчал, а военком, попыхивая папиросой, листал его дело, время от времени бегло взглядывал на Лихого, будто сверяя написанное с лицом.

— Слушай, — сказал он наконец, — рад бы, говорят, в рай, да грехи не пускают.

«Опять! — мелькнула у Брата старая мысль, приносившая с собой отчаянье и пустоту, — опять «грехи», опять я черный, да на всю жизнь, что ли?!»

— ...не могу, никак не могу. Ты пойми, врачи зря не напишут.

— В лаге мне градусник не поставят!

Брат замолчал, не зная, что же сказать такое, чтобы ему поверили, его поняли. Но военком слушал, и очень внимательно, и надо было говорить, надо было раздевать душу словами, а слов было очень мало.

— Здоровье, да? Да мне ведь это лучше курорта будет! Или три года тюрьмы, — или армии. Человеком выйду, работать буду! Знаю, скажете: «Все так говорят». Пропаду, понимаете?! Пропаду,

если сейчас не возьмете!

Военком стоял на своем.

— Врачи ясно пишут: повреждение позвоночника, слабая печень, с нервами какие-то люфты. Все, что могу,— сделаю. Устрою на бесплатные курсы шоферов. Окончишь — место найдем хорошее, чтобы на глазах был, милицию или нас возить будешь. А на службу — не могу.

Брат Лихой не верил его словам, как не верил и диагнозам. «Знаю я эти финты! Пачкаться они не хотят, мои визитные карточки им не понравились».

Он не пришел на следующий день, хотя пообещал, а через два месяца снова, как и ожидал, сел под следствие, не запирался, даже чуть было не взял на себя чужую вину...

Суд, учитывая, что преступление не первое, а рецидив, дал три года исправительных работ в колонии строгого режима, с выселением на Крайний Север.

---

Дождь насквозь промывал рабочий поселок Антипаюта, полоскал причаленные к барже лодки, суда, стоящие в губе реки. Ездовые собаки, облившиеся за лето, равнодушно ждали, когда их роскошная шерсть промокнет. Дождь шел меланхолично и долго, уже вторую неделю подряд.

Было светло, как в пасмурный день, — солнце еще не ушло на зимнюю спячку и посвечивало где-то километрах в двух над сонным рыбацким царством.

На пристани, на огромном пеньковом тюке, сидел мужчина. Неподалеку горел фонарь, но и без него было видно, что пассажир, ожидающий рейса, закутан в брезентовый дождевик, из-под капюшона которого время от времени вспыхивает, как маленький маячок, теплое пятнышко сигареты.

Над крутым берегом шла улица с редкой гирляндой огней, сочно блестевших на мокрых досках тротуаров. Человек сидел не шевелясь, не вставал в поисках более сухого места и смотрел на

освещенный сегмент воды и стоящий в этом сегменте буксир с физическим звучным именем «Изотерма».

За час до утра — условного утра, потому что время суток не играло ни малейшей роли в эти одинаково серые дни,— мужчина услышал неподалеку, на прибрежной улице, рычание, крик и снова собачье рычание — на этот раз рычание сквозь занятые зубы. Он знал, что в дальних северных поселках нередко случаи, когда собаки нападают на пьяных и поскользнувшихся, а еще чаще — на маленьких детей.

Он поднялся бегом по мокрым доскам помоста, похожего на лестницу, и увидел собачью свалку. Десятка два собак грызлись между собой деловито и глухо. То одна, то другая вылетали, выброшенные мощным толчком за круг, который постепенно сужался. Мужчина сначала засвистел, чтобы они заметили его и испугались. Действительно, круг распался, несколько собак отошли в сторону и издали скалили зубы. Тогда человек ворвался в кольцо, свирепо раскидывая его ногами в длинных резиновых сапогах.

Собаки неторопливо отходили, рычали, но напасть не решались: спиртным от него не пахло.

В грязи лежала женщина. Она упала, подобрав под себя руки, спрятав лицо, и ее меховая куртка с капюшоном была в клочьях. Подняв пострадавшую, мужчина увидел, что ей досталось не сильно,— собаки были заняты больше друг другом, чем своей жертвой.

Они спустились к воде, и мужчина сел на туго натянутый чальный трос, а женщина, зачерпывая воду ладонями, стала смывать грязь. Потом она подошла и сказала:

— Спасибо, что выручили. А то не видать бы мне своего Ивай-Сале. А вы куда?

— Да туда же.

— Вот и попутчики,— сказала она очень домашним голосом с четким уральским произношением.— Меня зовут Надей. А вас?

Мужчина помедлил с ответом,

снова закуривая. То ли дождь намочил сигарету, то ли слишком туго она была набита, но ответа долго не было.

— Братом меня зовут. Так, прицепилось прозвище, привык к нему. Говорят, отец покойный часто братишкой называл.

— А что, совсем, как имя. Я тут одного ненца встретила, так его зовут Замиром. Сначала удивилась — вроде что-то азиатское есть, а потом узнала: родители назвали ЗА МИР.

Надя оказалась словоохотливой, и Брат Лихой вскоре узнал, что она радистка, уже пятый год расписывается ключом в заполярном эфире, что сама из-под Челябинска, родственников нет, еще ребенком осталась одна.

Он молчал, слушал и курил. А потом подумал, что по-настоящему за двадцать три года впервые познакомился с женщиной. Было такое впечатление, что знает ее давно. И еще крутилась все время рядом другая мысль: сказать ей, что нельзя быть такой доверчивой и открываться перед первым встречным, а то жизнь, если не наказала, накажет. Слушал ее, а сам думал об этом и всякой всячине: первая неделя, как свободен и паспорт новый дали, правильно все же сделал, что решил остаться здесь, — в холодном краю легче трезвым быть, да и городов нет, может, и вытравит время старые замашки. Жить теперь, как все нормальные люди живут, работать почеловечески, как эта Надя живет и работает, найти себе вот такую, хоть семья держать будет. Брат думал обо всем этом, курил и смотрел на светлую спокойную воду и светлое Надино лицо, но не очень-то верил во все, о чем думал. Боялся повторения той дикой усталости, какая ждет за колючей проволокой. Он и вышел из заключения с этой усталостью, вышел не истосковавшимся, не голодным по людским лицам и голосам, а очень уставшим человеком, которому можно дать вместо двадцати трех все тридцать пять.

Потом они, разговаривая, прошли к низкорослому зданию аэропорта — рейс отменили, и Надя решила ехать

«омиком», а вещи с вечера остались в камере хранения. Брат помог донести чемодан до пристани, в пять сорок механик завел дизель, и в шесть черные тесовые крыши Антипаюты уплыли на север.

---

Ивай-Сале — бывшая фактория.

Поселок старый, но маленький. Раньше сюда приезжали русские купцы, выторговывали песцов за водку, спички и патроны, а рядом с двумя избами стояло то пять, то полтора десятка чумов. Сейчас Ивай-Сале изменился, но не так круто, по сравнению с другими поселками. Просто другим повезло: оказались то на пути к лучшим пастбищам или рыбным угодьям, то по соседству с газом и нефтью. Но Пур в этих местах не так богат муксуном, до газовиков и экспедиционников еще долгие километры тундры.

Многие экспедиции бродят рядом, что-то уже нашли, но вертолеты МИ-6 только через год-два принесут сюда трубы буровых вышек, моторы и строительство. А пока: магазин, пекарня, клуб, баня. Все.

Но в двух-трех часах езды на вездеходе уже живут глубочане — мастера глубокого бурения. Вездеходы геодезистов, сейсмологов и геологов утюжат тундру вдоль и поперек. Их база севернее, а в Ивай-Сале перевалочный пункт и радист. Сюда по портативным «Недрам» передают радиogramмы, которые будут отстуканы по назначению уже ключом. Сюда вертолеты сбрасывают почту, спецовку, продукты, запчасти.

Здесь началась новая жизнь Брата Лихого.

---

А в общем, — рассуждал он через неделю, — жить здесь не так уж плохо. Вагончик с койками и теплыми стенами, повариха питает минута в минуту, связь с Большой землей ежедневно, с ноября начинается «морозная» скидка к плану,

полярный коэффициент 1: 9.

Он стал работать помощником бурильщика, Надя осталась на Ивай-Салинской базе геодезической экспедиции № 287.

Каждый вечер Брат говорил с ней, неуклюже прижимая огромную трубку «Недры» — вдвое больше телефонной — и каждый раз опаздывая с переключением связи на прием.

Иногда Надя не выходила на связь, и тогда Брат долго слушал частую россыпь ее морзянки и говорил что-нибудь, будто связался. Долговязый радист буровой Леня Семин внимательно слушал этот односторонний разговор и восхищенно подмигивал Брату. Каждый раз Леня спрашивал о новостях из Ивай-Сале, но Брат рассказывал их тогда, когда не слышал ничего, кроме знакомого «почерка» Надиной морзянки.

Время от времени буровики «гудели» — чаще всего с субботы на воскресенье. Накануне их база в Газ-Сале безоговорочно высылала с очередным вертолетом ящик-два спирта (6 руб. 54 коп., 96°). В понедельник у всех, кроме поварихи и Лихого, были белые, как у вареного окуня, глаза, и работа не клеилась. Но перегуды были недолгими: работа не ждала. Брат Лихой твердо решил не пить и отсиживался в вездеходе, как повариха в своем кухонном балке.

Работа показалась ему нетрудной, а потом, когда стал вполне полноправным членом смены, долго молча возмущался: это же пирожки с творогом, а не работа, а что было там?! — кайло, мерзлота, котлованы, одни бесконечные и бездонные котлованы.

Ребята подобрались, как на толкучке — пестрота. Компанейский грузин «Шоколад-Изюм» — приехал заработать «Волгу». Двое таких же, как Брат, — один отсидел шесть, другой — восемь. У этих остались все эковские привычки — ходили без денег и в «фонарях» — крепкие были кулаки у подвыпивших буровиков.

Освоился Брат быстро, завалил себя книгами, на вопросы играл в

молчанку, но чувствовал, что антипатии к нему ни у кого нет, — слишком работящим оказался новичок.

Через два месяца, уже по снегу, после долгой первой метели, упросил шофера атээски (артиллерийский тягач средний) подбросить до Ивай-Сале. Просто накануне Леня Семин снова слушал детальный рассказ Брата о «новостях». По накатанному зимнику домчали быстро. Лихо развернулись у магазина. Накупил Брат всего, что на него глядело, — и к Наде.

Комнатушка маленькая, теплая, обставлена, сразу видно, женскими руками. Все такое домашнее и запах особенный, как бы неощутимый запах Надиного присутствия. А в углу столик, рация «Недра» и график связи.

Встретила, как родного брата, распечатала брусничного варенья, грибов соленых и вяленого муксуна на стол поставила. Ловко сновала по комнате, домашняя и бесшумная. И все говорила, говорила — очень мягким голосом, в котором Брат по рации уже каждую интонацию узнавал.

Открыла бутылку, сели, пригубили по глотку неразведенного (никакого красного в магазине не было) и впервые за все дни, что знали друг друга, замолчали. Глядели как немые, глаз не могли отвести. И тогда, все что осмелился сделать Брат Лихой, — погладил ее руку. Не отняла руки, но молчание треснуло, как полено в печи.

— Молчишь ты все, а поговорил бы, рассказал бы поболее о себе. Чай, ведь не на пароходе едем — сошли и не увидимся.

— Расскажу. Только лучше потом. Если все подряд — спутается. Я вот чего приехал, Надюша: именинник я сегодня, понимаешь...

Надя всполошилась, руками всплеснула, засобиралась:

— Предупредил бы хоть, я-то и не приготовила ничего...

— А ничего и не надо. Это у меня первый, когда не один праздную. А то все

и подарки сам себе дарил. Ты посиди спокойно, помолчи, я тебе этот подарок подарить хочу. Ладно?

Брат встал, отодвинул стулья, свет верхний выключил, один только грибок оставил, шляпу ему набекрень сдвинул, чтоб в глаза не било, и начал тихо, неуверенно:

За окном пепелища...  
Дома черноробрые,  
Снова холод, война и зима...  
Написать тебе  
Что-нибудь доброе-доброе,  
Чтобы ты удивилась сама?

Снег тихо плакал в антеннах, пересыпая темноту холодными искрами. Потрескивали смолистые дрова, и мягкий свет комнаты окутывал слова особым тоном. А голос — не тот, глуховатый, надтреснутый, как чайная чашка, а ровный, ежесекундно меняющийся, доносил слова не слуху, а душе, одухотворял их, наделяя интонациями, как человеческими качествами. Надя смотрела на преобразившегося Брата, слушала его и не могла узнать. Это был не он. Этот человек, свободно и вдохновенно читающий стихи, которые оживали непросто печатными строчками,— был не Братом Лихим.

Но стихотворение кончилось, руки, непрерывно ищущие в воздухе дорогу словам, устало упали, изменилось лицо, голос уступил место прежнему...

— Вот такие подарки,— сказал Брат.

— Еще что-нибудь,— попросила Надя,— еще, а?

Брат стал читать Есенина. В колонии он много читал его, но слушатели каждый раз просили снова и снова, и тогда Лихой стал отказывать, а они решили, что нужна мзда, и собирали ему курево, но он читал всегда бесплатно. Послушать, как Лихой читает Есенина, приходили даже надзиратели.

Это был уже новый голос: грустный, навевающий картину: падают листья, идет дождь, а сквозь дождь устало летят на юг журавли.

Надя слушала, а по щекам, чуть

заметно поблескивая, легли мерцающие следы слезинок.

Брат снова замолчал, и она спросила, сглотнув вставший в горле комок:

— Как зовут тебя, а?

— Ты же знаешь, Надя.

— Нет, как тебя звали?

Она все еще говорила шепотом, будто боясь спугнуть недавно рожденные слова стихов.

— Звали Александром. А потом — один раз удрал из колонии, другой — через стену продал матрацы, а там еще всяких геройств хватало. Прозвали — Лихим.

— Молчи, Санька,— шепнула Надя, и Брат задохнулся в ее цветастой кофточке.

Но он все же рассказал. Рассказал все, глядя в пол, будто сверху рассматривал годы, как половицы. А когда взглянул на нее, было уже утро, а стол остался нетронутым и Надя в той же позе, в какой сидела, словно промолчали две минуты.

— Скажи,— он запнулся и, спотыкаясь на каждом новом слове, вымучил:— Нужен... я... тебе... такой?..

Дни замелькали часто-часто, как придорожные столбики, если едешь с большой скоростью. Рация никому не доверяла слов, и Леня Семин уже ни о чем не спрашивал. В коротких прощальных «До завтра, Саша» для Брата было очень много своего смысла.

Каждый день он помнил вчерашний радиоразговор, словно заново и заново прослушивал его, и молча продолжал его ночью, зарывшись головой под подушку. Такими ночами он многое рассказывал Наде — и что она, действительно, вся его Надежда, и что никто за последние пятнадцать лет не назвал его Сашей, и что, только пусть она верит ему и в него, он сможет все.

Он приехал на Новый год и чуть было не обиделся на Надю, когда она сказала:

— Знаешь, Сань, сегодня в клубе

очень хороший фильм, пойдём-ка?

Он ждал совсем других слов в этот день, и Надя, видя, что он вот-вот не согласится, стала настаивать.

— Тебе его обязательно надо посмотреть. Обязательно.

Они пошли, и Брат Лихой сначала морщился: какая-то древность, шпаги, говорят стихами. Но потом, когда кончилась первая серия, он сидел молча, закрыв глаза и обхватив голову ладонями. Надя не тревожила его.

Когда фильм кончился, они остались и сидели, пока не ушли все зрители. Потихоньку отняв его руки, Надя увидела, что Брат Лихой плачет.

Это был «Гамлет».

---

Новый год был самым большим праздником в бедной праздниками жизни Лихого. Пришло счастье настолько огромное, что придавило его, и Брат долго привыкал к незнакомой ноше, хрупкой, как самое тонкое стекло.

А по ночам он уже не укрывался подушкой. Хорошенько протопив вездеход, Александр по нескольку часов подряд заучивал книжку, подаренную Надей. Были и десятки других книг, полистав которые парни говорили:

— Не то, Братка,— Станиславский — это не про любовь.

Все чаще приезжал Лихой сквозь пятибалльный норд с сорока пятью ниже нуля.

И однажды ни на минуту не покидавший Лихого принц датский вошел в маленькую Надину комнату вместе с ним. Гамлет Сашки был без трубчатого белоснежного воротничка, но в черном, очень грубом свитере. Ладони были слишком тяжелыми, но это были ладони Гамлета. Голос, походка, жесты, а главное — лицо, были не Брата Лихого, не Сашки, не буровика, не зэка 18282. Монологи шли непринужденно, и то плавно, то горько и резко...

Это был Гамлет. Он двигался, осторожно неся в себе свои идеалы и мысли, он негодовал, но оставался чистым и высоким, он издевался,

хохотал, благоговел. Гамлет жил, и это была только его жизнь, в которой не было абсолютно ни одного штриха Сашкиной жизни.

Только перед его отъездом ошеломленная Надя смогла хоть что-то сказать. Это были слова:

— У тебя талант, Саша. Но тебе надо учиться. Очень много учиться.

---

Надя твердо верила в свои слова, как верила в него. И она настояла, чтобы их свадьба была сыграна не здесь, они переехали в районный центр — Тазовск, и через полгода Александр играл на сцене Дворца культуры. Оба понимали, что самостоятельные спектакли — только первый шаг, без которого немислимы остальные.

Но Гамлет жил. Гамлет звал. И Брат Лихой умер, чтобы Сашка, ждавший в нем так долго, мог стать Гамлетом.

Черная пешка говорила:

— Полюбите нас, черных, а беленьких нас всякий полюбит.

И ее полюбили задолго до того, как она стала белой.